

Александр Блок

# Ни сны, ни явь



# Александр Александрович Блок

## Ни сны, ни явь

«Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.

Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно — штук двадцать...»

# **Александр Блок**

## **Ни сны, ни явь**

**М**ы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман.

Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий луг. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно — штук двадцать.

Вдруг один из них завел песню. Без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть, по голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов; но я никогда не думал, что у маленького фабричного, гнилого Григория, такой сильный голос.

Мужики подхватили песню. А мы все страшно смутились.

Я не знаю, не разбираю слов; а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада.

После этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и, с пьяных глаз, сам

поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже — на следующее утро пошел рубить старую сирень.

Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней — березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей — овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит, открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой.

Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только «политический», который все время тут путался по дорогам на велосипеде, нелегально. Урядник всегда ездил низом, прямо через болото, а «политический» — верхом, по дороге. Бывало, урядник ушмыгнет в кусты на своих беговых дрожках, как курица, мокрый от водки; а уж с горки со-

колом катит на велосипеде «политический»; на штанах у него прилипли и в педалях велосипеда застряли репьи. Собаки совершенно осипли, крутят хвостами в облаке пыли.

Итак, все мы кончили довольно плохо: «изменились скоро, во мгновение ока, по последней трубе», как и предупреждал дьякон.

Но ведь «политический», что бы ни произошло, всегда останется «политическим» и «нелегальным». Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно, сам же и нарушал.

Всю жизнь мы прождали счастья, как люди в сумерки, долгие часы, ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе. Ослепли от снега, а всё ждут, пока появятся на повороте три огня.

Вот, наконец, высокий, узкий паровоз; но уже не на радость: все так устали, так холодно, что нельзя согреться даже в теплом вагоне.

Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходят Магдалина с сосудом,

Петр с ключами; Саломея несет голову на блюде; ее лиловое с золотом платье такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой.

— Душа моя, где же твое тело?

— Тело мое все еще бродит по земле, стараюсь не потерять душу, но давно уже ее потеряв.

Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность.

Душа мытарствует по России в двадцатом столетии...

Весенние лесные проталины. Снег почти сошел; только под старыми елями сереет ледяная корка. Душистый воздух. Среди елей образовалась огромная заводь; в ней отражается утро.

За лесом — необъятная равнина. На равнине — необъятная толпа мужиков. Один подвывает лапоть; другой умывает лицо талым снегом; третий засучивает рукава рубахи: собрались куда-то.

Из большой, наскоро сложенной, кузни валит дым. Мужики тащат плуги и бороны в переплав.

А за деревней, на холмах, остановились богатыри: сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперед, конь крепко уперся ногами в землю, всадник протянул руку, показывает далеко — за лес.

Вдруг толпа двинулась по направлению, указанному рукой богатыря. На плечи взмахиваются вилы; у других — странные старинные мечи.

Мужики идут, по колена утопают в озерах тали, и весь лес наполнился шелестом лаптей.

Теперь — тише. Наступает молчание. Я закрываю глаза и передо мной проходят обрывки образов, частью знакомых, частью — нет. Они стесняют грудь, так что становится душно. Перед закрытыми веками проплывают радужные пятна...

Я открываю глаза — все та же лампа, и на кресле, под лампой, она: верхняя половина ее лица в тени; освещен приоткрытый рот; в темноте, сквозь приспущенные веки, меня



по-прежнему преследуют эти всегда пьяные глаза.

Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним, как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой.

Вдруг над крышей высокого дома, в серых сумерках зимнего дня, появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила:

— Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами — у меня одно имя. Перестань искать меня там и тут — я здесь.

Никакого ответа на его тоскливые жалобы. Только фонтан роняет струйки; а длинные травы в узком хрустале благоухают.

Всю ночь он пробродил вдоль черной реки, а утром подошел к церкви. По снежной площади наискосок, огибая паперть, протряхала сонная тройка: по бокам висели гроздьями шесть пьяных офицеров и дам. Очевидно, жаловаться было некому и думать не о чем.

Он решил вернуться домой, пока она спит.

— По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте...

— Что?

— Там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: «Эй, вы, торопитесь».

— Так что же?

— Дальше я уж не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.

— Да ведь это — садовник.

— Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: «Всегда успеем». Тогда он встал, не торопясь, и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.

— Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится.

— Эх, не знаете вы, не знаете.

*19 марта 1921.*